

**Александр
ЦЫГАНОВ**

г. Вологда

САДОВНИК

Таких киосков сегодня в городе видимо-невидимо. Обитый железом, приткнулся возле кафешки сбоку: за стеклянной перегородкой что-то с места на место перекаладывала немолодая женщина в большой чёрной шапке.

На руках у неё ничего не было, хотя мороз ещё с самого утра никого не жаловал. Правда, может, там у них обогревалось. Да, конечно, обогревалось, как же без этого: глянь, какая весёлая прыгает, и холод ей не холод.

У Горелова имелись вязанные перчатки, только давнишние, старые, с дырками, пальцы сквозь них жгло сильно. Подул он холоднущей струёй на руки, даже свело, и вдруг неожиданно для себя спросил у продавщицы:

— Интересно, почём здесь спиртное?

— Сто лет в обед как не продают, — усмехнулась женщина, а потом пожала плечами. — Только зачем человек спрашивает, если не пьёт, не понимаю. Мёрзнуть, что ли, нравится?

— А откуда это известно? — Удивило Горелова, в первую очередь, конечно, то, что продавщица так спокойно заявила, как будто они знакомы не первый день. Но тот не знал её: впервые видел.

— Ладно, — женщина, даже слегка улыбаясь, рукой махнула. — Лучше в кафе сходи, обогрейся: глядишь, хватит и пообедать после сегодняшней получки. Иди, иди...

Всё Горелову стало не по себе, и он без слов потопал прочь от этого киоска. Пройдя несколько шагов и как вкопанный остановился: неожиданно и в то же время просто почувствовал, что женщина эта не только знает, что он, Горелов, верно, не пьёт, а знает и больше — не интересуется

СВЕТЛО И ЯСНО

рассказы



этим делом целый год. Верным было и то, что Горелов недавно получил долгожданную зарплату за дежурство, на которую при желании можно и пообедать хорошо — пошиковать, зато после этого остаётся лишь руками развести. Но ему давно хватало кружки горячего чая и куска хлеба. Там, где он проживал, о первом и втором мечтать не приходилось: в зареченской коммуналке — как в общем вагоне, если не хуже. К плите не подступиться: день-деньской очередь вперемежку с пьянкой на том же месте. Да и без ругани с мордобоем не обходится. Какое домой идти!.. Вот и сейчас не тянет. Хоть мороз на улице, а лучше по городу пройти.

На душе и без того худо. Тошно: как по рукам-ногам связали и в колодец без дна бросили. Теперь ещё эта непонятная женщина из ума не идёт. Мимо пробирался согнутый от стужи старичок в высоких рыжих валенках. И тут Горелов мгновенно почувствовал, что может свободно угадывать его мысли.

Только этот мороз так довёл, что ясновидец ещё толком не понял: радоваться ему или бояться такого открытия? Опомнился, когда услышал в себе всё то, что старичок думает: «Поди, внучка опять дверь открытой оставила. Бегу, а видно, не успею...» Да и запнулся сам, но Горелов успел его подхватить и сказать: «Не беспокойся, отец: дома всё в порядке, а внучка к двери не подходила». Старичок, ойкнув, заторопился своей дорогой.

«О-о, — сообразил Горелов, — так с ходу и за тронутого примут. А что, не забродило ли у меня на самом деле?»

Надо походить и поуспокоиться, вот что. И он, тихонько спустившись с горки к речке, льдом протопал на другую сторону. Подъём был крутой: наверх вела железная обледенелая лестница, по которой мог подниматься лишь человек, которому надоело жить. У нижней ступеньки адела свежая кровь, в снег впиталась: похоже, кто-то вправду переоценил свои силы.

Осторожно держась за поручень, Горелов было ступил на железную ступеньку, но сразу возвратился обратно. Еле заметный, возле береговых кустиков лежал стальной прут. Горелов

его поднял — это оказался самый обыкновенный ломик. Чего и надо было. Сдвинул он тогда свою шапку на затылок и потихоньку-полегоньку стал эту наледь перед входом состукивать.

А то, чего доброго, первый голову и свернётся. Но сначала, честно говоря, по сторонам оглянулся: ещё подумают, мол, герой какой нашёлся, никто не просил. Потом в раж вошёл, и дело как по маслу пошло, даже жарко стало.

— Что, наконец жареный петух клюнул? — крикнули над самым ухом.

От неожиданности Горелов вздрогнул и выпрямился: перед ним стоял здоровый молодец-удалец в распахнутой, на меху кожаной куртке.

— Чего уставился? — Ногу молодец перед собой выбросил и туда-сюда ботинком вертит. — Не правду, что ль, говорю? Пока человек голову не свернёт, никому дела нет. За что людям и деньги платят? Давай вкалывай! — горячился бедовый мужик. — Как ни дворник — обязательно лентяй! К бабке не ходи!

— Да я не дворник. — Горелов даже немного отступил перед таким напором, а то этот молодец, видать, поддал подходяще, теперь не на шутку расхотелся.

— Тогда кто такой, отвечай! — рявкнул кожаный мужик и для начала крепенько толкнул Горелова в плечо. — Ну!

— Садовник, — первое, что пришло в голову, и брякнул тот.

Подумал: чем непонятнее, тем скорее отвяжется. А то, глядишь, ни за что ни про что ещё фонарей навешают, после ищи-свищи виноватого.

То ли молодец этот перепил, то ли недопил, а только совсем обозлился:

— Гад, ещё и врёт! — и сам вот-вот двинет, кулак уже отвел — с маленькую кувалдочку. Горелов тогда на всякий случай ломик поднял, мужик и подстих немного. А потом, у пьяных это бывает, как-то наверх быстро взлетел. И вот оттуда кричит, надрывается:

— Попадёшься на узенькой дорожке — ноги то поотрываю!

— Земляк, — надоумил его тогда снизу Горелов. — Дуй прямо к динамовскому стадиону,

там свежее «Вологодское» завезли, слышь? А на меня не злись: я такой же прохожий, как и ты.

Молодец-удалец только лишь заводиться начал, как в голове у него одно засело: «Надо в «Засаду» не опоздать». Как будто больше пивных точек не было в городе: видно, хорошенько в носу зашаяло у человека. Вот и пришлось ему подсказать, чтоб лишнего круга по городу не делать. А к пивнушке у стадиона точно свежее завезли: несостоявшийся дворник даже теперь видел, как тамошняя продавщица выставляет бутылки в холодильник.

Продавщица... Вот оно что. Хоть тресни, но ему надо обратно вернуться к киоску и узнать, что такое с ним сделала женщина в чёрной шапке.

Горелов несколько уже не сомневался: происходящее было делом её рук. Только врать мужику, конечно, не стоило. Когда сказал, что он садовник, сразу почувствовал, как неизвестно откуда что-то ледяное хлынуло в него — прямо внутрь опрокинулось, ну и дела. Нет, надо скорее продавщицу увидеть! И обязательно всё разузнать: может, та между делом какую-нибудь порчу шутя навела? Вон сколько в наше время всяких колдунов-чудотворцев развелось — не меньше, чем нищих на улицах.

Возвратился Горелов обратно, оглянулся — нету киоска, как корова языком слизнула! Да что за пропадина такая! Ведь был же — вот тут возле кафе и стоял! А теперь вместо этого одна голая земля. Обошёл он на всякий случай во-круг двух соседних домов — пусто; заглянул опять обратно: здесь и стоял, вот ещё чистое место, снегом не тронутое, хорошо видно, ошибки не могло быть.

Делать нечего: холод не тётка. Зашёл Горелов в кафе, решив всё разузнать, — киоск этот отсюда как на блюдечке виден был. Народу, кроме двух секретничавших девчушек, не оказалось, и проситель ходом — к продавщице:

— Не подскажите, — спросил, — куда тут киоск запропастился? С утра пораньше был и ничего не трогал, а сейчас не стало. Непонятно.

Так и сказал. А женщина улыбнулась и головой кивает, успокаивает:

— Был, был, с утра стоял. Да только его пол-

часа назад куда-то свезли. Ведь все киоски, которые незаконные, давно убирают.

— Тогда мне все ясно, — кивнул Горелов, — благодарствую. И куда его увезли?

— Не знаю, молодой человек, не могу сказать. Только ругани было — не убраться, это верно.

Хотя и назвали Горелова молодым человеком, легче не стало: какой молодой человек, придумают тоже! Под сорок уже, а на вид и того больше: давно не брит, волосы не стрижены, вдобавок ещё всё старое на нём надето. И пальто, и штаны, и пиджак. А у шапки одного уха совсем нет, оборвалось.

Бывает, какую-нибудь зловредную дырку, что совсем на виду, закропаешь как умеешь и дальше бегаешь. Может, и рад бы в новое обрядиться, да с такой зарплаты быстро закукуешь. Но это ещё ладно, платите хоть вовремя — и то бы хорошо. Думают, сторож в кандейке — так уже не человек?

И что с того, если иногда возьмут да бомжом на улице обзовут, сорвётся с яз ыка. Не на таковских напали, гореловская порода другая: чтоб с протянутой рукой на люди сунуться, это уже надо особенную натуру иметь.

Все нынче на одно лицо — и те, что торгуют на каждом углу, и те, что деньги у каждого встречного-поперечного без зазрения совести морщат. Раньше тоже всяко жили, но ведь этого не было, — откуда что и взялось?

Ноги сами вынесли Горелова на улицу. Шёл он по набережной — впереди, через рынок, протопаешь несколько кварталов, — и церковь. Купол её золотился издали, и Горелов просто так, бездумно брёл в том направлении. Вскоре ощутил, как вовсе заledenела голова: оказывается, шапка осталась в кафе, но возвращаться уже не хотелось. Чего-то не по нутру было. А сам он опять почувствовал в себе недавний страшный холод, кажись, забравшийся уже в самую душу, внутрь человека. И там, где под старым пиджаком стучалось сердце, невидимый и противный, катался-ползал колючий ёжик уже не по первому кругу. Дошло до него сейчас, почему так изнутри прижало.

И раньше, конечно, догад был, а теперь знал

точно. Только пользы от этого — один пшик на пустом месте. Это что-то вроде болезни, мало хорошего. К примеру, попытался Горелов несколько раз своих же соседей в коммуналке помирить, неумоготу было от их ору, так вместо этого сам еле-еле ноги в закуток унёс. Или возьми сегодняшний случай с лестницей: тоже чуть на орехи не досталось. Правильно, выходит, соседка и говорила: «Чем лучше остальных — сам во всём и будешь виноват».

Ёжик к этому времени сполз с нутра, но его заменила плита, которая жамкнула, — дыхание и без того вовсе сплющила. Правильно, не суй носа в чужое просо, если у самого, как на грех, ничего не выходит толком.

На дороге, по углам домов, там и сям сидели нищие, одетые в какие-то летние азиатские одежды. Они в эту пору здесь через год да каждый год появляются: месяц-другой помелькают и опять исчезают в неизвестном направлении. Многие из несчастных держали на согнутой руке грязные размотанные свертки с детшками.

Ведь не поскачешь тут в первый встречный двор, не будешь делать мороженые глаза, как будто всё шито-крыто. Горелов, сперва запнувшись, торопливо сунул руку в карман, нашёл сегодняшнюю получку и что-то дал одной женщине, следом другой. Но вспомнил, что и сам ещё с утра не ел, сунул остатки денег обратно за пазуху в карман.

Возле нового магазина в гирляндах цветных шариков и с надписью «Мы открылись!» снова оказалась тоскливая фигура в стёганом полосатом халате со склонённой головой и протянутой ладошкой — голой, потрескавшейся на морозе. Тогда Горелов, сжав зубы, выгреб остатки денег, на глазок разделил пополам и половину сунул нищенке, а после, не выдержав, перешёл на другую сторону улицы. И сколько бы он ни старался, так и не услышал, что думали эти полуобмороженные женщины. Наверное, они давно уже ничего не думали.

Мимо всё время пролетали машины, красивые, иностранные, бесшумно-стремительные. Нечасто доводилось Горелову бывать в центральной части города, где, выходит, и кипела

ныне новая жизнь. Правда, ему это было всё равно, особо не интересовало. Также никому не был нужен и он сам, особенно после одной специальной больницы, где довелось немного отдохнуть. Даже на работу не брали. Ладно, соседка помогла устроиться — пожалела.

Наконец Горелову попался на пути и рынок — обойти его было невозможно, хотя сам пешеход не терпел многолюдья. В голове его сразу зазвучало на все голоса, как в радиоприёмнике, ничего не разобрать, — один только нагольный свист и крик. Но быстро стихло: всё-таки знатно Горелова морозцем зацепило. Нечего было себя носом носить: вернулся бы обратно да забрал себе шапку, какая-никакая, а всё грела.

Неизвестно, почему он обратил внимание на эту девушку. Их здесь вон сколько — считать, не пересчитать. Но вот выделил из всех: в глаза бросилась. Скорее всего, в выпускном классе бегают, хотя выглядит, конечно, по нынешним меркам, взрослее. Возле одного из киосков притулилась и вот смотрит — только что дырку не протёрла на выставленном за стёклами товаре.

Горелов сразу понял, как ей худо! Как её душа кричала! И тогда он сделал вид, что его тоже что-то заинтересовало в ближайшем ларьке, встал рядом и настроился на мысли девушки. Да и настраиваться не надо было — его самого едва не толкнуло: «Ну, я вам устрою, — бездумно глядя глазами, полными слёз, на холодные киосковые стёкла, негодовала школьница. — Блин, прикольно: смартфон им жалко купить! Все наши уже по второму сменили, а мне фигу показали: потерпи немного, сейчас не можем! Потерплю, потерплю, не расстраивайтесь: такое устрою, потом и рады бы всё отдать, да только поздно будет!»

— Девушка, что желаешь? — сунулась из окошечка усатая голова. — Выбирай. А то в гости заходи, пожалуйста. Может быть, и договоримся.

И вот диво-то: вроде как и засомневалась эта школьница — того гляди, и впрямь посреди белого дня туда полезет.

«Иди куда шла, по своим делам! — разобрало

Горелова зло. — Разве можно быть такой душой!»

Девушка испуганно оглянулась, к чему-то прислушиваясь, потом, упрямо мотнув головой, двинулась дальше. А Горелов лишь теперь понял, кому это она угрожала за то, что требуемое ей не купили. Да родителям — вот кому! Надо же, сразу не дошло! Выходит, вовсе крепко гульнул этот морозец в его голове. И ещё припомнилось, как по телику недавно вещали, что один из школьников у себя дома в ванной повесился в наказание родителям, которые ему не купили что-то из модной одежды.

Так вот чем грозила эта взрослая школьница: зная, решила что-нибудь с собой придумать нехорошее, чтоб потом родители всю жизнь с открытым ртом ходили. Но ведь несерьёзное, поди-ка... только пугнуть, может, решила?..

«Эх, длинноногая, — торопился Горелов следом за десятиклассницей, боясь потерять её из вида, а заодно стараясь и не узнанным быть. — Не жилава ещё одна, милая. Да с самого-то детства».

Школьница проворно выбралась из толпы, и Горелов испугался: не запомнил, во что она была одета. На пути опять попалась нищенка, но Горелов всё равно в сторону не свернул и с тоской, бочком, пробрался краешком дороги: дать ей он уже ничего не мог.

Дорога подходила к церкви. Наверное, от нечего делать ученица и вошла сюда. В это время что-то вовсе непонятное и обрушилось в гореловскую память, начисто помешав угадывать — слышать мысли; оставалось лишь надеяться на самого себя в этом месте с большим золотистым крестом наверху.

Он торопливо зашёл следом внутрь. Служба здесь закончилась давно, было свободно, красиво, тихо. Мягкий ласковый покой внезапно охватил всю душу, изгнав непонятный страх, успокоил и память.

Девушка остановилась там, где под стеклом находились крестики и иконки, книги, церковные календари и свечи. Упрямо шевеля губами, она вдруг радостно улыбнулась и, наклонившись, шёпотом спросила о чём-то маленькую старушку, копошившуюся за деревянным прилавком.

Горелов уже понял, что надо делать. К счастью, как раз и в настроении девушка была. Да бог с ними, с деньгами этими, что у него ещё оставались. Хотя и невелика, а ей всё одно подмога. Проживётся как-нибудь, не впервой: у той же соседки перехватит, никогда не отказывала. Нашёл о чём страдать.

Понятно, что у самого Горелова школьница денежку не возьмёт, это было бы дико, а вот у этой бабушки... Надо только всё с толком сделать. Тем временем девушка, немного притихшая после разговора с маленькой старушкой, стала осматривать внутреннее убранство церкви: осторожно ступая по кафельному полу, зашла за белоснежную арку, долго смотрела на лик какого-то строгого святого в золотом убранстве. Горелова она не заметила, да и мало ли кто здесь бывает-ходит, какое ей дело.

— Извините, — обратился Горелов к старушке тихо. — А что эта девушка хотела?

— А она, милоч, крест свой нательный ладила продать, — оживилась бабушка. — Деньги, вишь, ей понадобились. Иди, сказываю, милая, иди со Христом-Богом, грех это. Чего удумала.

— Вот, — прихожанин без раздумья достал всё, что у него с собой оставалось. — Отдайте ей как-нибудь. У меня-то не возьмёт.

— Дочка али знакомая? — сморщилась старушка. — Убиваешься-то так.

— Дочка, дочка, — отозвался Горелов. — Только гордая больно. Да и поругались мы немного.

— Чего с вами поделаешь, — с ласковым вздохом согласилась маленькая, что дитё, бабушка в опрятном платочке. — Давай уж.

Говорить с ней было удивительно легко, словно с самим собой наедине. Горелов передал деньги, вышел за порог и встал у небольшого решётчатого окошечка. Вроде бы почестному всё хочется, чтоб лучше как было, а выходит лишь наоборот — хуже некуда. Ноет душа, как кто-то в ней чужой сидит, и всё тут! Совсем уже заврался: то у него едва ли не каждый первый встречный родной или знакомый, да ещё в придачу с утра пораньше каким-то садовником заделался. Дожил, чего и говорить:

дальше ехать некуда. Мимо, едва не задев, пролетела школьница.

— Что случилось? — подскочил Горелов к старушке.

— Да ну вас, — рассердилась та. — Даю девке деньги, она нос воротит, еле не в крик: «Я не нищенка, чтоб чьи-то подачки брать». Да и вон из храма-то в пробеге. Беда с этими детками. На, деньги-то обратно.

— Ладно. — Горелов изо всех сил торопился вслед за школьницей. — Пусть здесь останутся. У меня ещё есть.

И, наскоро перекрестившись, он опрометью кинулся к выходу: девушка не успела уйти далеко. Более того, она уже явно на что-то решилась. Стояла рядом с пешеходным переходом возле заснеженных деревьев, что напротив городского парка, и внимательно следила за проезжающими машинами.

«Теперь я вам устрою!» — проскочило молнией в гореловской голове, и он мгновенно заметил что-то ужасное — сначала даже своим глазам не поверил. Вокруг этой школьницы, свободно обтекая, лёгким газообразным облачком пульсировало и двигалось что-то жуткое, — жило, всё время видоизменяясь, колыхаясь в морозно-искристом снежном мареве.

Горелов обеими руками протёр слезящиеся глаза: мимо бежали, торопились замерзшие, ушедшие в свои мысли люди — спешили в долгожданное тепло. А газообразное, меняясь, постоянно пульсировало: в нём вспыхивали то сонмы антрацитно светящихся злобью глазок, то высывались люто кривляющиеся мордочки и острые хвостики, исчезая и вновь являясь в ином невообразимо фантастическом виде, еле улавливаемом людским зрением.

«Всем покажу — узнаете!» — крикнула ученица, и из газообразного тумана, соткавшись, тут же стремительно и дружно вылетело неисчислимое количество мохнатых огненных ручек, разом толкнув девушку вперёд — под стремительную, неудержимо летящую машину.

Но только раньше, успев-таки наконец понять, что же такое чужеродное сидело в нём, Горелов уже точно знал, что, станет делать дальше. Тогда, словно это услышав, кое-что

дегтярно-тёмное с рёвом вышло вон из его нутра, спасительно освободив душу от непосильной маеты, — там спокойней стало. А сам он, успев оттолкнуть от проезжей части школьницу, в тот же миг прыгнул прямо к тем деревьям, которые тёплой порой не иначе как самым настоящим садом и не обозвать из-за неизменно благоухающей, буйно неукротимой зелени.

О себе знал: всё равно не пропадёт. Только гололёд везде был, скользко кругом. Не рассчитал Горелов свои силы: его бросило напрямик под разящую чёрную стрелу, которая насквозь и прошла через то, что называлось человеческим телом. Ему ещё дано было увидеть и услышать, как на том месте, где он был, раздавленный, вдруг всё разом взревело и завертелось, как чей-то голос — жалостливый и одинокий — говорил: «Смотрю: а он ни с того ни с сего как под машину бросится!.. Наверное, пьяница какой-нибудь или с ума человек сошёл. Сейчас это каждый день бывает. Люди уже и жить не хотят, вот что творится на белом свете».

Горелов видел своё тело с разбросанными руками и разбитой, смятой головой, со свивающимися сосульками красных волос. А следом нечто светлое подняло его неосязаемую светящуюся оболочку высоко-высоко. Но будто всё его — гореловское, светлое — не отставало кричать и кричать, невесомо уходя в запредельные невозвратные дали. Только уж если там, на земле, никто не хотел слышать, кто же теперь услышит оттуда — из света?..

НЕУГОДА

Маме

Не знаю, ничего не знаю: хожу, стойно¹ сама не своя. Вот так иду, да как поведёт, как ошатит², маленько не паду. Так остановлюсь, постою немного, схохотну про себя-то: ровно пьяная. Разве дело? Да и дальше потихоньку побреду. Вот и выползала эдак всю жизнь, с одной почтой целых двадцать годков маялась. В любую-то погоду: туда десять вёрст да обратно эстолько. И на пенсию уж вышла, а всё не сидится дома, да ещё одна в придачу осталась, ведь батько-то у меня... Тошно и говорить. А на

людях всё спокойней. Порой с газетами добредёшь к вечеру, у людей свет в окошечках горит, только у нас тёмным-тёмно. Сумку бросишь в угол, полежишь на диване, кружа-то отойдёт, дак снова на ноги и давай скотину обряжать. А та знай себе орёт во дворе: поди, на всю деревню слышать, так перед народом стыдоба, прямо невмоготу.

Недавно уж больно сильно окружило: тоже пенсию по домам разносила, да как на грех запнулась и головой-то прямо об угол дома угодила, дак ничего не упомяну, ну. А много ли мне надо!.. Когда ещё нашему старшему годик был, пилили с батьком дрова на берегу, а напротив Вася Доровской с Нюрой тоже наладились поленицу ставить да чего-то и разодрались. Они и до сих пор через день да каждый день пазгаются. Вот Вася сгрёб полено и — в Нюру им, а я возьми да торкни бабу в сторону, так мне только плашмя и угодило. Сперва думала, что добром обошлось, а видать, хорошенько навернуло голову: с того времени всё к земле долёт и долёт...

И этот раз тоже в себя маленько пришла, а возле Лидииного огорода лежу — и какая-то женщина незнакомая — в первый раз и бабу вижу — меня с земли подымает. «Ушиблась?» — спрашивает. «Ой, говорю, милая, ведь из памяти опрокинуло, даже в глазах рябит. Да ты-то кто, и узнать не могу?» — у ей интересуюсь. «Да по делам я тут, — отвечает. — А сейчас Лидиин дом продаю. Тебе часом не надо?» А сама глаз с меня не сводит. Я и думаю: «А куплю, чего не купить? Хотя сыновьям после отдам. А то один за синие моря укатил, другого и не выговорить, куда унесло. Хотя бы не на войну, упаси Господи. А так пускай наезжают да живут. Всё больше видеть стану». И говорю: «А сколько, матушка, стоит изба?» «Да всего шесть тысяч», — отвечает. Как с проверкой какой. И взгляд у ей больно какой-то... не знаю. А не замечала такого у людей. И говорю ей: «Ладно, шесть так шесть». И сама, значит, приуdivилась: ведь у меня на книжке ровно эстолько и набирается.

Будто в воду поглядела. Копеечка к копейке, по рупчику так и откладывала, сколько могла. Да разве своим ребятам жалко, для их и

живёшь только. А нам ещё в зарплате на днях добавили. Денежки-то прибавили, а в Воробино ходить отменили: экий крюк отнесло. Не с ума как хорошо. А женщина эта и маячит опять: «Так зайди в дом-от, посмотри. Понравится ли?»

Я захожу, а чего и глядеть: я у Лидии не раз бывала, когда десятником на сплаву работала, она ещё бухгалтером в конторе числилась. Так добро у товарки в доме — чего и глядеть, не знаю. Зашла, а Лидия сама из-за перегородки выглядывает. Хороши дела. Хотя давно и не виделись, а слыхала, что она в последнее время и не хаживала на улицу, на ноги не подымалась — как парализовало всю. А тут, гли-ко, молодухой вылетела: «Чего, матушка?» — «Да вот, Лидия, — говорю, — хочу твой дом купить». — «Нет, милая, — Лидия и говорит, — я ишшо сама тут поживу маленько». — «Хорошо, хорошо, — я-то и отвечаю ей, — ну и ладно, Петровна...» Я ей всё «Петровна да Петровна». «Ладно, — говорю, — Петровна, живи, сколько душе твоей угодно, я и в другой раз куплю. Не горит».

Вот, рожонные мои, как головой-то ей качнула — даже в шее больно сделалось, — да тут и проснулась. На диване опять лежу врастажку. Ни рукой, ни ногой не шолохнуть — всё онемело. Насилу и отпышкалась. На работе своим потом рассказываю, а они — мне: «Ой, ой, у Лидии-то ведь сорок дней не прошло со смерти, так потому и не допустила к себе. Это и ладно, что дом не продала да за собой не помашила, значит, жить долго будешь». Коли так, и добро, а как запаматовала, что Лидия померла, — не упомяну, ой, тоже...

Бабам-то своим я в другодни и рассказывала, а этот-то раз в себя пришла — за дровами сходила, печку затопила, эко запотрескивало, скотину напоила-накормила, а сама умом-то и думаю: дай хоть на печку заберусь да маленько согреюсь, чего-то иззяблась вся. Только это я забралась, ещё вздремнуть не успела, а возле горки-то у меня — кто бывал, крещёные, знают, — в самый раз напротив русской печки — прямо-то на глазах! — воронка³ завертелась-завертелась. Всё у меня разом помутилось, слё-

зы вон выступили — и оттереть ещё не успела, а оттудова девочка беленькая, экая пригожая, вылетела и к печке, ко мне подходит. Я одной рукой о полати опёрлась, понять не могу: откуда здесь и воронке быть — пол у нас гладкий. А следом и дошло: ведь подпол тут, только половиком закрыт, — не сразу догадка возьмёт.

«Да ты кто, милая? — у девочки и спрашиваю. — Больно уж и пригожая». А у нас на горке куколка стоит, в платьице беленьком, с косичкам, на эту и похожая, только у здешней волосы длинные да лёгкие, как пушинка. Да и свету в избе прибавилось, это у нас зачастую бывает — то совсем тускло, еле-еле пилкает, а то в глазах заломит, как теперь. А девочка снизу головку подняла на меня и отвечает: «Я бог Наташа».

Думаю, кто-то меня разыграть захотел? К Катьке Яшкиной, сказывали, гостя приехала недавно — а сама-то ещё не видывала. Так чего не подшутить над старухой? Ведь не обижусь, всякий знает.

И опять вопрос задаю: «Так ты откуда, бог Наташа?» — «С того света», — говорит. Ласково отвечает, а голосок тонюсенький-тонюсенький, только не звенит. «А хорошо там?» — меня и саму интерес берёт. «Хорошо, хорошо!» И такое у меня доверие к ней тут получилось, не высказать, начисто всё забыла. «А нельзя ли мне побывать там, хоть глазком глянуть, пока жива-то?» — «Можно, можно. Как нельзя? Тебе за твою доброту всё можно». Берёт меня под ручку, мы с ей к воронке этой, где подпол, подходим. Опять как снова завертело, волчком нас закрутило, как и под полом очутились, не углядела. А там светлым-светло, не хуже, чем днём, да батяно мой свет с мужиками в подполье проводил, отчего и не быть светлу.

Вот девочка подходит к какой-то белой полочке, берёт с ей и надевает мне на голову экую-то шапочку круглую, как моряцкая с виду. Я было опешила: откуда здесь одежке да полке-то быть? Да, видно, свет проводили, так разное-всякое оставили. Идём мы, идём с Наташей-то, за руку всё держимся, а вокруг нас, невдомёк как и оказались, детки бегают, да такие хорошие, пригожие, в баской одежде,

аккуратные, играют и поют: «Ла-ла-ла. Ла-ла-ла...» Сомнение меня взяло: неужто подполье у нас такое большое и гладкое? Не должно и быть. А дети всё сбивают с мысли — дарят и дарят мне подарки. Только чего, и не упомяну, сразу забываю, память совсем дырявая стала. А детки поют да поют: «Это за твою доброту». А грех кому и обижаться: вон мамашу-то и обстираю, и в баню свожу, намою, чего в магазине куплю — пополам разделю, — ничего не подделаешь, раз сама она под старость лет ослепла, совсем худо видит. Хотя и живёт с сыном, а меня за дочку считает.

Да за всех кряду сердце-то тоскует: гли-ко, чего на свете творится, уж кровь пути кажет. А вот следом за детишками подходит ко мне какой-то... И не выскажешь сразу! Только на нашенских ни на кого не смахивает. Весь с обличья тёмный, голову на сторону воротит, а сам норовит с меня эту шапку сдёрнуть. «Бог Наташа, — и спрашиваю тогда, — а зачем он это делает?» — «А хочет тебя на этом свете оставить», — Наташа отвечает мне эдак ласково.

«Ой, матушка ты моя, — говорю, — а с кем я скотину-то определяю, ежели?» Только это выговорила, а гляжу — никого уже кругом и нет. На печке лежу. Вот те раз. Видно, вздремнула — и привиделось. Ладно, вниз слезла, а в печке давно прогорело. Только бы мне пошевелить, и клюку уж изладилась взять, а в прихожей у меня две собаки стоят: наверно, за дровами-то ходила, так двери недокрылись. А собаки обе разные: одна — чёрная, другая — ближе как серая. Лапы здоровенные у обоих, да на передних ещё чего-то белеет, стойно часы прикреплены. Большие такие, вроде компаса похожие. Отшагнула я в сторону, а со сна ещё маленько не в себе. Пригляделась внимательней, а не блазнит: стоят и стоят. Батюшки-светы, царица небесная — гляжу, это ведь те, что о прошлом годе забегали! Ну, те, правда, приснились, а эти оба-два рядом стоят, только что есть не просят. Грудастые, лапы расставили — и на меня смотрят, принесла нелегкая не вовремя.

Я возьми и спроси их, нет бы прогнать: «Дак вы к добру или к худу?» А чёрный, недолго думая, прямо так человеческим голосом и вла-

ял: «К худу, к худу!» — «А к какому худу-то?» — спрашиваю. Думаю: будь что будет. Раз уж не набросились, теперь и подавно не сожрут. «К тюрьме, к тюрьме», — другая, серая, так же отвечает. Что и деется: ни дохнуть да ни глотнуть. Оне и о прошлый год, когда снились, то же самое говорили.

Вот и не верь снам: ведь батька-то моего и верно забрали недавно в казённый дом, не разобрались. Ребята большие ночью в двери ломятся: «Открывай, такой-сякой, вина выноси!» У мужа-то день рожденья был, вот и принесла нелёгкая гостей: поди, думали, у нас тут винный завод. А сами и без того пьянущие, не высказать, пьянее самого вина, чем и опились, не знаю, да теперь в себя льют всё, что течёт. И вот ломятся, бьются в двери: того гляди, что на приступ эти озорники пойдут.

И вышел батько-то на улицу, хоть отговорить — может, и обумятся люди. А те на него — с кулаками. И чего там приключилось, бог знает, а только утром один и помер, кровью истёк. Кто ему сунул — толком не дознались, не определили. До утра под окошками народ бегал да ором орал, меня саму из ума вышибло, после этого и забрали моего, начальство на машине приезжало. Была в районе у следователя по фамилии Семёновский. Тот лишь зубы скалит: «Будем твоего дедка сажать, а ребят не тронем — ребята хорошие, а дедко старый, своё отжил». Поплакала я, ой, заплакала. Один бог только знает, как плакала. Потом, правда, от батька весточка была одна: «Вышлите, Валентина Кирилловна, мои вставные зубы, что в зеркале лежат, да фотокарточку Вашу».

Вот как. Раньше-то и слова, кроме как Валька, не слыхивала, а то знай только оборачиваясь, когда костерить почём зря принимался. А тут гли-ко: Валентина Кирилловна, да ещё на Вы. На старости лет в такой чести оказалась. Вот. А больше сам не писывал, так не знаю, на чего и подумать...

И здесь тоже кобель-то серый как протянул свою лапу в угол, а там батько мой стоит! Тут я и догадалась сразу, что опять мне привиделось: кто же самого оттуда, из казённого дома, без разрешения вызовет?

Ну вот, рожонные мои, поднялась я с места, расчесала волосы взад-вперёд, после села на стул возле зеркала да руки вот так и свесила. А голова всё шумит и шумит, прямо гудом гудит. В людях говорят, что на урода всё неугода — и у меня не чище выходит, хотя крещеная отродясь была. Вот и не знаю сейчас: то ли я опять сплю или снова живу?..

Беда с этой и жизнью-то.

¹Стойно (волог.) — словно, будто.

²Ошатить — пошатнуть.

³Воронка — здесь в значении «яма, провал».

СВЕТЛО И ЯСНО

Брату Коле

Бегал я тогда в четвёртый класс. Учила нас Ирина Васильевна Хоботова, старая уже, строгая женщина, у которой в своё время сидели за партами ещё наши родители.

Все четыре класса начальной школы, разделённые интервалами парт, располагались в просторной комнате полупустого дома, окружённого большим старым садом, пугавшим нас своей сказочной зелёной дремучестью.

Обязательно раз в месяц Ирина Васильевна устраивала встречи с ветеранами Второй мировой, на которые ежеразно являлся её муж — Алеша Дама-первая, прозванный так за стамою — негнувшийся — указательный палец правой руки (в картах к тому времени мы уже соображали не хуже взрослых).

Однажды во время вот такой очередной встречи с ветераном в класс неожиданно вошла молодая девушка в сопровождении Хоботовой.

Ирина Васильевна сдержанным кивком поблагодарила мужа, и тот неторопливо отправился во двор заниматься своими хозяйскими делами.

Девушка была красива, и это понимали даже мы, четвероклашки, с молчаливым любопытством уставившиеся на неё, слегка покрасневшую от столь пристального внимания.

— Познакомьтесь, ребята, — представила девушку Ирина Васильевна. — Ваша новая учительница Наталья Анатольевна. Она будет вести литературу и историю.

На уроках Натальи Анатольевны было интересно, и все её рассказы казались нам настолько правдивыми, точно она сама являлась каким-то чудодейственным образом очевидцем тех легендарных событий.

Помню, как-то после урока истории подскокил ко мне дружок Колька Ожогин и, угрожая воображаемым копьём, воинственно надрылся:

— Я — Пересвет, ты — Челубей! Защищайся! Я — Пересвет, ты — Челубей!

Для проживания Наталье Анатольевне выделили комнатку возле класса, но на выходные она уходила к тётке в Нефёдово, а дорога туда вела через нашу деревню.

В одну из суббот мы с Колькой, отстав от ребят и размахивая полевыми сумками, брели из школы, довольные, что впереди нас ожидало целое свободное воскресенье.

Заслышав чьи-то шаги, мы дружно обернулись и увидели Наталью Анатольевну.

— Ребята, — весело проговорила она, догнав нас на дороге у Дымарки, возле мостика через ручей. — Кажется, нам по пути? Не против, если я пойду с вами?

Она ещё спрашивала об этом!.. Мы были, конечно, рады, но не показывали этого ни капельки. Только первое время не знали, как держать себя с учительницей, и лишь пыжились да молчали.

Но Наталья Анатольевна легко и непринуждённо разрушила эту преграду, о чём-то рассказывая, и вскоре всё стало на свои места. И мы уже со спокойной душой выбалтывали ей наши мальчишеские секреты, чего никогда бы в другом разе не допустили под самыми что ни на есть лютыми пытками.

Колька, например, рассказал, что ещё только вчера Лёнька Вешкарёв на спор съел лапку от живой лягушки и даже не поморщился.

Наталья Анатольевна удивлённо хлопала глазами, а под нашими ногами с удовольствием шелестела ломкая разноцветная листва,

упругим густым слоем усеявшая тропинку.

Вскоре мы подошли к деревне. Наталья Анатольевна поинтересовалась, любим ли мы читать.

— Я давно просил книжку про войну, — пожаловался Колька, — да всё, говорят, нету.

— А знаете что, ребята, — вдруг предложила учительница, — я могу достать книг, каких хотите, только надо идти в Нефёдово. У меня ведь тётя завбиблиотекой. Но вот только как посмотрят на это ваши родители?

— Разреша-ат, — твёрдо заверил Колька.

Но его как раз и не отпустили: Колька мой сосед, живёт через дорогу, поэтому я слышал, как он напрасно хныкал, выпрашиваясь у своего малоразговорчивого и постоянно занятого работой отца.

Моих, к счастью, дома не оказалось, и, похватав в карманы пожевать, я пулей вылетел на улицу, радостно сообщив Наталье Анатольевне, что мне разрешено.

Сколько потом было хожено-перехожено, но никогда не позабудется отчего-то и посейчас видимая зелёной та, до обидного короткая дорога к тётке и обратно! До сих пор музыкой звучит повествование о жестоких корсарах морей и о благородных храбрых людях, вступивших в смертельную схватку с пиратами. А как мне хотелось быть на месте того юнга!..

Но неожиданно рассказ обрывается, а в расширенных глазах Натальи Анатольевны застывает такая беззащитная ранимость, что меня прямо толкает к ней, как к матери...

— Ой, — переводит дыхание Наталья Анатольевна, прижимая руки в просвечивающих перчатках к щекам, — понимаешь, вспомнила рисунок: тот Сильвер своим железным костылём убивает одного матроса, который отказался быть в его шайке. До сих пор жалко того моряка!..

От Нефёдова я бежал на всех парусах, подпрыгивал и громко пел, держа обеими руками книгу с изображением старинного корабля и тиснёной витиеватой надписью: «Р.Стивенсон. Остров сокровищ».

...С этого дня все переменялось: я жил постоянными думами о Наталье Анатольевне,

она мне даже снилась, и я внезапно открывал глаза среди ночи, с замиранием вслушиваясь в стук собственного сердца. А мир всё так же, как и в тот день, был полон глубокой сладкой тоски...

Но однажды Наталья Анатольевна не пришла в школу. Бобылиха Анюта, деревенская всезнайка, рассказала женщинам у колодца, что за новой учительницей приехал красивый жених на своей машине и увёз её в город.

Я сразу до белого каления возненавидел бобылиху и каждодневно не находил себе места, дожидаясь Наталью Анатольевну. Но она так уже больше и не пришла к нам в школу. Тогда я набрался смелости и обратился к Ирине Васильевне.

— Она... уехала, — помедлив, ответила Хоботова и, внимательно посмотрев на моё кислое лицо, добавила, как взрослому: — Не унывай, ты ещё только начинаешь жить. Надо быть готовым ко всему, дружок.

Еле сдерживаясь, я убежал за школу и там в стороне от людских глаз вволю наплакался, а надо мной негрейким пятном ехидно торчало комомое солнце...

Немало времени прошло с тех пор. Многое забылось памятью из моего детства, но я всегда помнил и буду хранить в сердце своём то далёкое-далёкое, мальчишеское, потому что видится оно светло и ясно.

КАРТОШКА

*...Там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.
(Николай Рубцов)*

Домой мне удалось вырваться как раз к уборке картошки. Вдвоём отцу с матерью было уже тяжело пластаться на огороде, а садили они с прежним расчётом, как в лучшие дни, когда за домашним столом вместе со мной хороводились ещё двое братьев, Игорь и Николай, двойняшки-«боевики», служившие сейчас срочную на чужой стороне.

Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к нашему огороду. Я всю жизнь не перестаю изумляться родительскому истовому трудолюбию!

Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккуратно подобранных плах — под дрова, их доверху. В летнее и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба через плаху, чтобы дрова там не застоялись, не залежались, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них первозданную свежесть и крепость, тепло. Слева ещё две сарайки: под сено — первая, а другая — хлев для коровы Мурашки, нетёлки Красавки и пяти ухоженных, точно после химической завивки, овечек.

И всё это сколочено-сделано на славу, надёжно и ладно. Ни щёлочки лишней, ни гвоздя ненужного. Заглянешь в сенник — дух захватывает, в сено опрокинешься, а вверх, на поперечине, веники, как птицы, висят. Глубже вдохнёшь — зубы сведёт от запаха лугового, духовитого...

Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю один — завалившийся среди блёкнущих глянцевиных листьев. Ем, как яблоко. Во рту — свежесть мяты, и поднимается вдруг невесть отчего чудесное настроение.

Высокие листья чеснока макушками связаны в шалашики, а горох уже повял окончательно и развешен, как бусы, на ольховые палки.

За картофельными грядками — яма для картошки. На сухом бугре и с крышей, точно у финских построек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда подлезает с полным ведром, — деревянный настильчик. Внутрь вполз на четвереньках: вокруг такой же деревянный пол, чтоб рассыпать картошечку, провеивать её, а уж в самой яме — квадрате два на два — три отсека, тем же материалом вымощены: в одном — стоять, в другом — на зиму картошка, и в последнем — на семена.

Когда урожай убран полностью, в «стоячий» отсек ссыпается та же деловая продукция. А мелкая и с дырками, порченная, собирается в отдельное ведро и относится в хлев, во дворике которого сколочен сусек для скотины. Всё рассчитано и продумано с величайшей экономией. Ничего лишнего.

Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом праведным, а мать уже начинает, наклоняется над боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок податливо входит в грядку, отваливается куст: тяжело и мягко...

Чувствуя неожиданное радостное волнение, я подсказываю к матери. Хватаю куст и встряхиваю: бело-жёлтые клубни весело срываются на землю и наперегонки скатываются в боровок.

— Не-ет, ты погляди-ко, — смеётся отец и с удовольствием потирает руки. — Чисто по-росята!

Он забирает у матери лопату и становится во главе грядки: это его законное место, как и за столом — напротив окна; табуретка под столешницу задвинута старая, со щербинами, но отец дорожит ею, перевёз ещё из старой деревни, Клёнова, где прошли его детство и молодые годы.

Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отбираем. За огородами — поляна, по которой легко пробежали несколько голенастых рыжих сосен с кучерявыми зелёными верхушками. Над ними красным пятном — солнышко, светит ясно и негрейко. Небо — синь синью, ни облачка лёгкого. На душе никаких заботушек, голова на редкость светлая...

Время не замечается, а всё тело давно наполнилось крепкой и уверенной силой, дышится полной грудью.

...Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные вёдра и разношу их по назначению. Мельком поглядываю по сторонам: мои односельчане тоже не теряют времени даром — то в одном, то в другом огороде копошатся, не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито курится дымок...

— Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи... — вполголоса шепчу я, торопясь с пустыми ведрами обратно; как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои успокаивает, чтоб потом они, обновлённые, стали чище и выше! И так ни к месту пришло: не знаю, когда и как уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине, — убеждён. Но сейчас об этом ни к чему. Всему свой срок.

Отец тем временем распалил костерок, подбросил сушняка, и бесенятами заплясали язычки огня.

Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпает грудку картошки, накрывает её ведром, теперь можно не беспокоиться — не подгорит-не сгорит, притихший было огонь вновь облёгчённо и весело затрещал. А мать раскладывает на разостланной клеёнке огурцы, помидоры, грибы, хлеб. Отец соорудил из досок скамейку, и мы садимся обедать.

Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим огурцами, под рукой краснушие помидоры, свежего копчения рыба и солёные грибы в стеклянной литровой банке.

И тут мать как-то непонятно встряхнула головой и резко обернулась: открыв отводок, к нам торопливо шла почтальонша тётя Вера с разбухшей брезентовой сумкой.

— Господи-господи-господи... — заклинанием забормотала мать, возвышаясь над нами. — Уж не с робятами ли чего-о-о?..

У отца, снизу уставившегося на лицо её, немо повело рот. Я молчал.

— Вера-матушка, — протянула руку мать, — чего это? Чего ты идешь-то?..

Тётя Вера остановилась, оглядела нас — и вдруг всё поняла, заголосила:

— Да что ты, Ольга, что ты-ы! — замахала руками. — Чего тебе в ум-то взбрело-о-о?.. Да ведь вам письмо от ребят-то, письмо-о-о!.. Что ты, что ты! Это я уж по-соседски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, матушки мои, воно что!.. — Тётя Вера нервно достала приготовленный конверт, торопливо протянула.

Мать обеими руками сжала письмо в комок и через мгновение, словно очнувшись, бережно расправила. Прочитала — и засмеялась, заплакала:

— Скоро, милые, домой обещаются. Ой-ой-ой, да и медалями-то, пишут, обоих-то наградили. Слава тебе, господи-и-и... живы-здоровы!.. — Неловко села на лавку, склонила голову набок, вглядываясь в строки письма. — Гляди чего... Пишут: поди-ко, картошку уже убираете... До чего, мол, мама, картошки-то охота — сил нет, так бы до отвала и наелись...

— Мать только теперь посмотрела на нас с отцом, протянула письмо. — Да ты садись, девка, — пригласила тётю Веру. — Заодно и перехватишь с нами, а то всё на ногах да на ногах...

— И то верно, — почтальонша не стала дожидаться дополнительного приглашения и взяла картофелину, перекатывая её из руки в руку. — Ты погляди-ко: ведь обоих медалями начальство наградило, надо ж такое!.. — подивилась она братьям: — Вот чего наши-то ребята делают!

Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили...

— Ольга, — чуть осевшим голосом окликнул отец. — Помнишь-нет Олёшу-то Шольского?

— Но, — не сразу откликнулась мать, подсовывая тёте Вере банку с грибами. — А чего?

— А он картошки всю жизнь не едывал, — усмехнулся отец: — «Не еда это, — говорил, — а одно... недоразумение».

— Недоразумение... — сощурилась мать. — Да мы, сколько себя помним, живём на картошке. Стар и млад на ней выросли. Без картошки — стойно без рук: хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемееет. Да тут и говорить-то об этом — только воду в ступе толочь!.. А Олёша-то — грех худым словом покойника вспоминать! — сам с гулькин нос и прожил-то. А всё отчего — картошки не едал!.. Вот что я скажу.

— Ну, ты уж тут загнула, — с сомнением возразил отец. — У него, сказывают, рак был...

— Да только и кот-то у него не чище был, — вспомнив что-то, встрепенулась и тётя Вера, — помидоры всё у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот — и помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-то сгинул, как в камский мох провалился: ни слуху ни духу...

— Ага, ну ладно, — поднялся со скамейки отец, видя, что почтальонша закончила есть. — Докопаем — да и добро, хоть душа на спокойе.

Тетя Вера, поблагодарив, ушла доразносить почту, а мы занялись своими делами.

Как-то враз потемнело всё кругом, и тотчас разгонисто, без промедления подул во весь опор резкими порывами холодный хлёсткий ветер.

— Ой, да и работы-то с боровок осталось, — с сожалением глянув в темнеющее небо, проронила мать и, как заклинание, заторила, обращаясь к крепнувшему сиверку: — Ви,-ихорь, ви,-ихорь, жена твоя не онуча: не надо ветру, не надо ветру!..

Но все же где-то на небесах не удержалось и прорвалось — закрапал, усиливаясь и усиливаясь, дождь. Копать вскоре стало невозможно, но у нас уже всё было закончено, успели.

Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось ещё подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас мы с отцом будем носить пойло во двор, а потом всем скопом поставим самовар и обязательно просидим за чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать письмо от братьев-«боевиков» и ещё о многом таком проговорим, чего наболело на сердце... Нам всегда есть о чём поговорить.

Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в корыте со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно вытираем ноги, и мать, прежде чем войти в дом, поворачивается к нам и, весело тряхнув головой, — куда только и усталость делась! — неожиданно задорно поёт:

*Эх, картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Если б не было картошечки,
Чего бы стали есть?*

— Молодец, мать, — крутнул головой отец, — тогда пироги станем печь — с начинкой! — и добавил, засмеявшись: — Из картошки!

КЛЮКВА

Он был рад, что ушёл от остальных ягодников. Хотелось быть одному. Тем более что выходить обратно со всеми на душе не лежало: за ягодным болотом притаилось тихое озерко, где у него давно ещё была припрятана лёгкая сухая лодчонка, на которой, переплыв озерко, после можно спокойно за какой-то час дошагать до своего дома.

Места эти, конечно, хожены-перехожены. С детства и до старости: как-никак, а уж семь десятков недавно стукнуло. Время промелькнуло, как та самая птичка, что теперь стремительно порхнула с кустика на ветку, оглянуться не успел. В лесу на все лады чиликало, трещало, посвистывало.

Солнце светило тускло, было ветрено и холодновато. Перед болотом на косогоре густо шумел осинник: с одной стороны листья были красны, с другой — маслянисто блестящие, зеленели.

Он вдруг остановился, удивившись тому, что как бы со стороны увидел себя: в чёрной стеганой фуфайке с крупными пластмассовыми пуговицами, с зелёным рюкзаком за спиной и двумя эмалированными ведрами на руке, в синей восьмиклинке, выбритого до гладкости и со странной улыбкой озирающегося кругом... Ещё не легче!

Он передёрнул плечами и, вытащив из кармана брюк алюминиевый портсигар, торопливо закурил, нехотя разгоняя сизоватый, в завитушках дымок. Затем двинулся дальше, покачивая головой: непонятно — точно прощаешься с чем-то или с кем-то, а под сердцем калёной иглой знобяще держится самый настоящий страх...

Он густо прокашлялся, отгоняя тяжкие думы, и, сильно раздвигая кусты, вышел к укромному болотцу.

Чуть ли не перед самым носом вертушкой пролетела сорока-трещотка. Но и без её вести было ясно, что здесь ещё не ступала нога ягоdnика и что клюквы нынче видимо-невидимо. Бери — не оберёшься.

Он вздохнул во всю грудь, уже легко и свободно. Потом, раскатав резиново скрипевшие бродни до пахов, опустился на колени и принялся обеими руками сноровисто и быстро собирать в эмалированное ведро лаково красневшую, тугую и спелую клюкву.

За делом он, как и всякий истинно работающий, забывался. Ягод было так много, что глаза невольно страшились, а руки — делали. Болотный мох упруго пружинил под резиновыми сапогами, под коленями чуть колодезно холодило...

Он вспомнил, как в детстве тоже вот так же елозил здесь, на ягодах, вместе с деревенскими, была и Надька Сурикова, без неё и гулянка не гулянка, всюду успевала. Он высыпал ей тогда из своей банки-посбирушки все ягоды, а когда ребята увидели и стали дразнить, выхватил у Надьки ягоды и кувырнул их в мох. Как там и были...

А позже, на вечеринках, Надька всё поглядывала в его сторону и, встречаясь с ним взглядом, краснела... Потом взяла да и выскочила за парня-жердину с Цветкова: ягоды, что ли, припомнила?.. Худо ему тогда было — впервые почувствовал, в которой стороне сердце: там палило и жгло так, что... женился и сам... на одной тут. Из соседней деревни. Женился и женился. Значит, надо жить было. Только уж больно женушка сварливой да жадной оказалась, что просто диву давался, откуда у неё это?.. Одно время слух ходил, что она в детстве в голодные годы у родной сестры срезала с пояса хлеб в мешочке.

Конечно, говорить, так до всего договориться, но если верно знать не знаешь, так и вины нет... Что бы там ни было, а однажды он не застал жены дома — и след простыл. Позже узнал, что удула куда-то к дальним родственникам: тайком списались, те пообещали у себя в городе работу денежную, ну и двинула новое счастье искать.

Бог с ней. Как говорится, кто старое вспомянет... А только с тех пор так бобылём и живёт. Привык. Даже нравится — тебе никто не мешает, и ты никому поперёк дороги не стоишь. Милое дело. Имеется и хозяйство: корова, пара овечек, даже держит небольшую пасеку. Мёд — не последнее дело для здоровья. А когда обращаются деревенские за помощью — не отказывает, всегда поможет, даже больше сделает, как в чём-то виноватый.

Может, понимает, что люди сторонятся его порой, оттого что такой вот молчун, каких свет не видывал. А за работой, глядишь, и перекинешься с человеком словом-другим — всё веселее... Хотя, что ни говори, а один — он и есть один. Одной-то рукой и узла не затянешь...

Он и не заметил, как набрал первое ведро. Даже с кленьком. Доверху, только обратно не сыплется. Встал, не в силах сразу разогнуться — тихонько постовав, выпрямился в поясице.

Неожиданно вновь опахнуло леденящим холодком под сердцем, оно сжалось и затосковало. Он сердито скрипнул зубами. Снова размял твердыми коричневыми пальцами папиросину, затаился так, что резцы нижних зубов до боли впились в прикушенную губу.

Дела... Дела выходили, как сажа бела: чем больше думалось да вспоминалось, тем муторнее становилось на душе, словно и впрямь на прощание вся жизнь заново вспоминалась, с начала и до конца.

Тяжело передвигая крупными желваками, он вложил полное ведро в рюкзак, затащил на новую прочную веревку и, заприметив место, оставил под белой в чёрных подпалинах берёзой зелёный рюкзак с эмалированным ведром, полным ярко-рубиновой клюквы.

Второе ведро набиралось труднее, ломило в спине и шее, бросало то в жар, то в холод, а раз он, неловко повернувшись, кульнул носом в мох и коротко, скороговоркой ругнулся.

Он и не почувствовал, как наступил вечер, в воздухе тонко похолодало. Перед лицом висела прозрачная золотистая паутина, и он вспомнил, что ещё так и не перекусывал. Достал из кармана газетный свёрток, развернул его: пара красных помидоров и свежепросольных огурцов, мягкий с хрустящей корочкой хлеб, густой медный чай в бутылке с капроновой пробкой. Перекусив на скорую руку, он вскоре досбирал и второе ведро, но уже без желания, по необходимости и через силу.

В груди жгло и покалывало, гудом гудела голова. Он чувствовал, что так, пожалуй, никогда не устал. Удивляясь своей слабости, нашёл мету с ягодами, вздёргнул рюкзак за спину, подтянул брезентовые рубчатые лямки и, взяв в левую руку другое ведро, направился к озерку.

Под его ногами спичечно похрустывали сучки, а ветер теперь был тих, с мгlistым и далёким кругом солнца. Низко неслись тучи, как будто куда-то опаздывая. Одна остановилась над озерком и словно набухла, потемнела...

Он отыскал лодку в ольшанике, шумевшем чутко и тревожно, столкнул в воду. Аккуратно расположил на корме ягоды.

Ягоды... А ведь он звал про себя Надьку-то Сурикову ягодкой... Воно что, выходит. Вот отчего и вспомнилось сегодня всё это, хотя что всё-таки случилось на болоте, он так и не понял...

Ягодка... Ягодка сладкая, ягодка горькая... Он огляделся по сторонам, точно кто-то мог подслушать то, что он думал, затем надвинул кепку низко на лоб и удобнее сел за вёсла.

И в третий, уже в последний раз за сегодняшний день ощутил под сердцем укол — раскалённый, огненный, нетерпимый...

Он ещё успел подумать, что так, наверное, устал на ягодах, и, приложив руку к сердцу, вскинул голову: тёмная набухшая туча стремительно и мягко обрушилась на него, заслонив собой белый свет.

И он, привстав, ничком рухнул прямо в ягоды, выбросив перед собой сразу ставшие безвольными изувеченные работой крупные и тёмные руки в изжёлта-зелёных набухших венах.

ТУМАН

Или государственный региональный столб, или просто указатель с названием некогда бывшего человеческого жилища торчит теперь одиноко на всю безмолвную округу в густом зелёном тлене дымящегося туманного месива.

А снизу, от сонной малоприметной речушки, почти недвижимой, стелясь едва не над самой землёй, медленно и надвигался этот туман. Поначалу легко и незримо выползая, он будто копился — собирался в означенном месте, перед кустисто заросшим полем, а затем, точно по чьей-то неведомой команде, колеблясь, двинулся вперёд.

Тишина в предрассветный час здесь небывалая. Казалось, замерло всё дышащее и над землёй, и под ней; затаилось всё сущее, лишь, неощутимо нарушив это медленное продвижение над заброшенным угрюмым полем, сбоку,

из-за стены серо-чёрного зубчатого леса, бочком выглянула, будто испрашивая чьего-то разрешения, луна, зеленовато-жёлтая, тонкая, почти прозрачная, и далее тихо заскользила в безбрежной необъятности густого неба.

Туман местами, как живой, нехотя осветился этим призрачным светом и, колыхаясь, дымчатым громадным клубом направился в сторону пустой окаменелой дороги, ведущей в гору, на которой угадывались смутные очертания, напоминающие останки некой в давности жилой деревни.

Они, эти останки, словно бы в предчувствии чего-то непоправимого, чудилось, даже сгруппировались вместе, превратясь в одно целое, матово белеющее посредине в этот предутренний зыбкий час.

В это время луна, слабо клюнув, канула за тучку, но скоро вновь тоскливо продолжила сопровождать нашествие тумана, уже решительно вползающего на саму горушку, к домам — к их останкам, откуда видны только кирпичные сырые трубы, — сиротливые, окружённые со всех сторон пожирившим всё живое бурьяном, иван-чаем и густой, гремучей, не продохнуть, крапивой, жгучее дыхание которой способно умертвить сознание.

Между тем туман по-хозяйски взошёл на саму горушку и, извиваясь ботвистыми космами волокон, по-осьминожьки попытался обвить всё, что было когда-то здесь деревней, жильём людским.

И, оказалось, не только на горушке, а и ниже, по бокам и даже дальше, в другую сторону, — всё было избями, ныне окончательно истлевшими, мёртвыми. Всё высветила услужливо подоспевшая луна: уставилась сверху пред-рассветным жёлтым зраком, да так и замерла, пока туман, опять сгустившись, не закрыл от неё видимое. И тогда она, не споря, клюнула за очередную бездонную тучку и необидчиво утянулась к леску, кругом обступившему пустынную местность.

Плавнo переваливаясь, туман на миг остался один на один с тем, к чему так направленно двигался, и вдруг начал менять свои очертания, торопливо перестраиваясь, ибо не вечно быть

предутренней поре, и всё ночное, ненастоящее разом исчезает перед начальными проблесками истинного света.

Первый наплыв, вздыбившись, разом хлынул на то, что белело матово посреди умолкшей деревни — церквушки разрушенной, но, сколько бы ни пыжился, — не смог ни объять её, ни тем более попасть внутрь её, пустующую.

И тогда, точно отчаявшись, он нехотя отступил и уже свободно, даже величаво отполз, заполняя всё окрест, спускаясь в низину. И вот оттуда, снизу, где под непроходимостью бурьяна и змеиности огромной, копьями, крапивы лежали трухлявые коричневые брёвна, внезапно появилось нечто, странным образом напоминающее отображение человека.

Слепленное из обманчивых туманных обвивов, это нечто медленно выявило молодого человека, одетого в форму солдата давних дней, шинелью-скаткой через плечо и держащего тяжёлую винтовку-трёхлинейку, до половины скрываемую колыхающимся туманом.

На солдатской груди был криво приколот Георгиевский крест, и он, военный, молодой человек, растерянно оглядев жильё бывшего родного очага, место своей родимщины, рукой прижал награду к груди и безмолвно обратил и без того бледное, полное слёз лицо к небу — в чернильную безответную пустоту, и тотчас туман, живо сгустившись, окутал его, скрыв в своём мире.

И вот тогда оттуда, из тех недосягаемых горных высот, наполняя округу, родился какой-то неразличимый постоянный шёпот, схожий на бессильно-неразборчивую мольбу о чём-то главном, невозвратном, и уже не покидал всё происходящее окрест.

А вздувающиеся сизые клубы тем временем то и дело выявляли одно другого страннее и необъяснимее: волшебным образом открылась нижняя часть деревни с крепкими даже не домами — домищами, мимо которых вдоль забора, как в немом кино, прошагала толпа весёлых парней и девушек. Парни все в картузах и косоворотках, девушки — в длинных платьях и сапожках на пуговках.

Но они вместе с домами исчезают быстро

— настолько скоро, что один из картузников, снимавший тальянку с плеча, так и погрузился с этим в густой жадный туман последним. Следом непонятным образом послышались и голоса, больше детские. Прозвеневшие как будто одинокими чудными колокольчиками, они перетекли в немолкшую шёпот-мольбу и погасли в сырости раннего часа. То внезапно под горушку к полю, торопясь, бодро пропрыгал колёсный трактор, беззвучно стреляя клубами дыма, но так и не добрался до места, даже с горушки полностью не сбегал, — извивающиеся бесконечные волокна сжали и поглотили всё без остатка, со всем его железным пыхающим нутром.

Но не так уже и пуста оказалась окаменелая дорога, что первой попала под сизый плен, захлестнувший её своими мутно-серыми хвостами. Расплываясь, нерезко видятся на ней подводы с сидящими мужиками. Иные — пьяные — горланили что-то, поглощаемое сизым; и неслышно наяривала гармошка, в меха которой тут же вползал, яростно спеша, туман, заодно опутывая в свои вечные покрывала идущих следом за подводами так же неслышно ревуших баб и ребятишек, — сюда, от деревни, успели волокнистые щупальца, чтобы на веки вечные скрыть всё в бездонных таинственных недрах.

А какой дорогой в скором времени продвигалась в эти края женщина с опущенной головой и почтовой сумкой на боку — и не разобрать было, не говоря о настойчиво зовущем шёпоте-плаче, накрываемом вездесущим туманом — вязким, разбухшим, вплотную то опускающимся, то вздымающимся.

И он, не переставая, всё продолжал являть миражи, призрачные видения, где, сменяясь, уже углядывалась определённая закономерность: убранное, полное до горизонта стогов жёлтое поле тут же сменялось поникшим одиноким стариком с косой у потухшего костра, далее дымкой развеивало образ ласкового зелёного вечера со стоящими подле густой берёзы парня и девчушки со счастливыми лицами, и следом — уходящие в мутном застиле из деревни торопливые ребята с девушками

в сторону автобусной остановки, откуда, немедленно тронувшись, автобус сразу утонул во всепоглощающем губительном тумане.

И — тающие один за другим дома: полные жизни, они с устрашающей последовательностью сменялись пустотой и разрухой, — всё вмещалось и чудодейственно управлялось туманным грозным нашествием.

Но само происходящее с каждым разом становилось заметно бледнее, прозрачнее, тоньше и больше напоминало не первоначальные зримые образы и картины, — теперь это и вовсе было что-то невнятно-угадываемое, сглатываемое ненасытным наплывом, его остатками.

А сам туман, который, представлялось, уже наполнился вовсю изнутри шёпотом-молитвой о чём-то окончательно невозможном, — его передовой стелющийся ряд, успел вернуться обратно к реке. Цепляясь из последних сил своими ошметьями за бугристое булыжное поле, ветки деревьев, прибрежные, в лёжку кусты, навис над рекой и, наконец, во все захлебнувшись в звенящем стоне-мольбе, тонет — уходит в воду, став её частью, — той малой толикой некогда большой и полноводной реки, ныне умирающей день за днём сразу возле того самого края государственного полосатого столба, покрытого зелёным тленом, и куда уже много лет не ступала нога живущих и, верно, никогда теперь не ступит, несмотря на скользнувший в эту секунду первый живительный солнечный блик.

СЛУЧАЙНЫЕ ЭТЮДЫ

РОДИНА

Летним июньским вечером, когда чуткая тишина приглушает все звуки, добрее душа. Ты сидишь на тёплом бревне у Вологды-реки и после неблизкой дороги в одиночестве смотришь на горящие в красном закате купола Софии. Мимо тебя, счастливые, проходят Соборной горкой парень в белоснежной рубашке и девушка в лёгком, как дыхание ребёнка, платье. Сейчас в стороне твоего сенокосно-

го детства так же незабываемо дивно, на всю округу светится родной Ферапонтовский монастырь, а у дальнего речного водопоя вечерне замерли тёмно-фиолетовые кони с былинными гривами.

Как давно мне не приходилось быть в своих местах, возле той самой солнечной заводи, где через звенящую кузнечиками тропинку ждёт не дожждётся наша одинокая баня, под прокопчённым потолком которой всегда мощно и приятно шумит сухим жаром, а душе становится покойно и отрадно, как в детстве.

Смешное милое детство! Мне никогда уже больше не возвратиться в твою сказку, но память печально и томительно зовёт за собой, и я покорно и радостно отдаюсь ей... Детство моё! Ты помнишься мне одним ослепительным ярким днём, в малиновом мареве которого плывёт наш старый дом. И подле него — загорода, где неизменно волнующе пахнет свежей речной рыбой упругая, как берёста, жёлто-звонкая стружка.

В жарком воздухе гудит зноем, золотистые потоки испарений тают в вышине, изменяя горизонт янтарно-волнистыми гибкими линиями. И среди густой травы-муравы ходулисто шеперится на весёлой горюшке наша кормилица Красотка и глупо-глупо пялится на меня, босоногого, сквозь первозданную кипень черёмухи...

А в хрустально-незабудковом куполе бездонных небес трепыхается крохотный зелёный самолётик — неотвязная мечта безгрешных моих снов: схватить эту странную игрушку, обязательно сунуть её в карман штанов, и чтоб она там, как добрый ручной зверёк, ласково шебуршала, будто делясь своим сокровенным с единственным и верным другом...

Моё травяное бесконечное детство! Во веки веков будешь ты в моём сердце человеческом, потому что великой памятью первой любви, вечной девочки в синем июне, дало мне — милосердно и бескорыстно — удивительные силы жить и помогать другим.

А сегодняшняя благодатная ночь приносит с собой успокаивающую прохладу вперемежку с медвяно-густым, тягучим запахом липы,

и опять с такой же необъяснимой силой манит куда-то надмирным светом непостижимая, золотой царской чеканки луна — светло, как днём. Ты слушаешь тайную жизнь серебристо-узорных прибрежных ив, и отчего-то робко-радостно ждётся появления оттуда ни с кем не сравнимой неземной девушки с загадочными глазами...

Но вот уже ты идёшь вдоль и поперёк от юности исхоженными улицами, теперь такими подомашнему уютными, бережно прикрытыми воздушно-прозрачным покоем, что будто сама душа просто, чуть слышным шёпотом произносит: «Здравствуйте, родные мои».

ЗЕМЛЯКИ

Я возвращался домой. Добрался до райцентра и, узнав на автостанции, что рейсовый автобус ушёл, а следующий будет нескоро, отправился за город ловить попутку. День был жаркий, в воздухе парило. То и дело с тяжёлым гудом проходили красные КамАЗы, гружённые гравием, проносились легковушки.

Я уже устал голосовать, когда из-за поворота шоссе показался ярко-синий автобус, украшенный гирляндами цветных шариков. К удивлению, автобус остановился передо мной, словно по чьей-то невидимой команде.

Водитель, молодой парень в шёлковой рубашке с распахнутым воротом, захлопнул за мной дверцу и крикнул, задорно оглянувшись на салон:

— Ну что, свадьба, двинули?

Ему ответили дружным гвалтом. Водитель чему-то засмеялся, маленький автобус набрал скорость и, казалось, полетел по чёрной асфальтовой ленте.

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт, —*

вывел женский звонкий голос.

И тотчас в автобусе голосисто подхватили:

*На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт...*

А русоволосая молодайка-запевала вела дальше:

*На нём погоны золотые
И яркий орден на груди-и...*

— Далеко? — взглянул на меня весёлый водитель.

— В Глебовское, — улыбнулся я.

— По пути, значит! Доставим в сохранности!

Мотор вдруг зачастил, зачихал, и автобус, подрулив к обочине, остановился. Водитель, немного покопавшись в движке, тыльной стороной руки поправил волосы и по-хозяйски объявил:

— Перекур!

Со смехом и разговорами праздничная толпа вылезла наружу и сошла с бровки на луговину. Здесь после только что прошедшего мелкого дождя всюду блестели капли, а чуть дальше, возле опушки зеленеющего леса, нежарким светом горел иван-чай; и откуда-то сверху, слева, лучистым колесом весело скатилось солнышко.

В голубом и чистом небе свадебным венцом восхищала радуга. Одной стороной она опускалась за лес, в наши сказочные задумчивые озёра, а другой — туда, где ждала гостей невеста. Среди нежных лент радуги не было только белой, как будто чья-то незримая добрая рука сняла и подарила её невесте.

...А вскоре все уже едут, отчего-то вдруг призадумавшиеся; и в этом неожиданном молчании чей-то негромкий, удивительно родной голос произносит:

— Господи... как хорошо-то!..

ПОСЛЕ ДОРОГИ

Свободно вплетаясь в мою одинокую послебанную дрёму, вокруг неожиданно сгустился воздух: явственно ощущалось его бережно-бархатистое, невесомое прикосновение, точь-в-точь живое, как само дыхание... С усилием разомкнув глаза, я на миг заставил себя поверить в происходящее как в самый

обыкновенный сон, но нет — всё было в яви, — я ещё не заснул.

И тогда без страха я вверился тому, что находилось вне описания, именуемого реальностью, — и принятого всюду называться видением: воочию диво совершалось. Словно неведомая крылатая сила подхватила меня в мгновение ока, — и я легко, незаметно вознесся, без удивления и испуга увидев себя напоследок — после дальней дороги — на стареньком продавленном диванчике в пустом углу родной деревенской избы.

Далее, незримый и свободный, я просторно поднялся в недоступную высь и, ступая, чуть-чуть перебирая босыми ногами, оказался в куполообразном бездонно-белом строении: на сверкающих нестерпимым блеском стенах, солнечно, во всю благодать встречало лучистое изображение кого-то мне незнакомого, но в то же время дощмящей, неземной боли дивно близкого...

Позади распахнуто возвышались высоченные врата, над которыми со всеохватной бездонностью зодиакально мерцало, космически возносясь, величественное расположение небесных светил, — земное предвидение разных времён и народов...

А я, оглядевшись в лазурной неподвижности храма, обнаружил, что рядом есть ещё человек, — и тут вдруг моё сердце пискнуло всей своей болью, я моментально осознал, что этот осиянный медовым светом мальчик был не кто иной, как мой нерождённый сын. До сих пор это было для меня непостижимо, и, видно, уже никогда не взять в толк, как парой анальгиновых таблеток, однажды рекомендованных будущей матери при болях недалёкой местной медичкой, можно одним махом, навсегда разрушить всё лучшее, что только может быть в нашей жизни?..

А теперь в этом чудодейственном мире мне даже было дано с невыразимой радостью слышать его, моего прекрасного сына: лицо ангела с подвижным, молодым выражением, ясная речь, лишь мною ощущаемая; должному в свой срок явиться, ему, моему сыну, были уготованы страдания за прошлое и настоящее, а ещё за то, что предназначалось в будущем, потому

как всё, творимое на свете, ведается не нашим умом, а Божьим судом.

И уже исчез, неведомо растворившись, мой сын, оставив мне чувство великого покоя, ибо ощущался теперь в душе целиком — единой частью меня; но было далее то, что просто заставило вовсе замереть, — стоял я на густом, неподвижном облачке. На таких же, снизу подсвеченных таинственным закатным сиянием, тоже стояли и точно внутрь себя смотрели старцы — седые, белые как лунь. А века, мимо них струившиеся пылинками искрящимися, оказывались бессильными — не в состоянии были вывести их из этого мудрого, непостижимого для человека великотайного созерцания Вселенной...

Но здесь я обратно подумал о доме. И мне было тотчас позволено увидеть себя со стороны на том же старом нескладном топчанчике; понимая, что в любое время я смогу быть там, в своём сиротском одиночестве, снова я предстал в соборном творении неземном, а может быть, и не возвращался оттуда, только это уже было мне вовсе неведомо.

Потому что дальнейшее — не при нас писано: передний стоящий, подняв вдруг тихо свою большую белую голову, с такой молниеносной неприметностью глянул на меня исподло-

бья, что сразу стало ясней некуда, кто именно определяет всех тех, с кого в означенное время, когда надо будет, обязательно и совсем не в последнюю очередь спросится.

Следом, склонясь к фресковой, словно замелованной стене, он коснулся прислонённого посоха, изнутри сиявшего мощным, приглушённо-золотым светом, и опустил его в стену, разверзнув её. Невероятной силы звериный рёв вселенского холода ворвался снизу, от земли — оттуда, где пока ещё мы все были...

«Холодно нынче на земле», — молвило — отразилось гласом вселенским от неземной высоты Храма. И, осознавая, для чего всё это было, глянул я вниз... Точно бы собранные воедино на гигантской длани, двигались там люди — мельтешащие, безгласые, туда-сюда снующие со своими как будто скрытыми ото всего на свете вечными делами и личными тайнами, и ни за что, никогда не желающие понять единого — главного: не только всё, творимое нашими руками и воображением, а и всякое дыхание земное денно и ночью видится — зрится нетленно из дивного Храма Творца...

Александр Александрович ЦЫГАНОВ

родился в 1955 году в Вологодской области в д. Блиново.

Окончил филологический факультет

Вологодского педагогического института.

Автор прозаических книг.

Лауреат Государственной премии

Вологодской области по литературе,

Международной премии «Филантроп»,

литературных премий МВД СССР и России,

Гран-при фестиваля русской словесности и культуры

«Во славу Бориса и Глеба», лауреат Всероссийской

литературной премии Союза писателей России «Слово».

Член Союза писателей России.

Живет и работает в Вологде.

